



**В** ПОРУ, когда произведение о В. И. Ленине рождалось в изобилии, когда официальная критика трубила об огромных достижениях в этой области, на поверку оказывавшихся чаще всего мнимыми, хотя за них и давали высшие награды, рождалась еще одна книга, о которой пока не знал никто. Что же касается массового читателя, она долго оставалась ему недоступной и после того, как специалисты смогли наконец познакомиться с нею.

Именно в виду повествование «Ленин в Цюрихе» А. Солженицына, вышедшее в 1975 году и имеющее скромное жанровое обозначение: главы. Дело в том, что писатель действительно отобрал и объединил в одну книгу ленинские главы из трех «узлов» своей гигантской эпопеи «Красное колесо» — «Август Четырнадцатого», «Октябрь Шестнадцатого» и «Март Семнадцатого», ставящихся ныне достоянием советского читателя.

Прежде чем переходить к конкретному разбору этого произведения, — несколько слов о моем отношении к автору. В мое сознание, как и в сознание миллионов, он вошел знаменитым «Иваном Денисовичем». Для меня Солженицын прежде всего — удивительное явление человеческого духа, величия Человека, проявляющееся в бескомпромиссной борьбе за свои убеждения и права. С ним можно не соглашаться по тем или иным конкретным поводам, но при этом всегда знаешь: если он говорит так, значит, он на самом деле так думает.

Феномен А. Солженицына как личности и гражданина еще будет изучать, еще будут написаны тома и тома исследований о человеке, вступающем в единоборство с Системой, силой своего духа задушившем смертельную болезнь и сумевшем потом дать человечеству книгу, без которых немислимо глубокое постижение трагических коллизий XX столетия, истории России.

Солженицын выстоял. Солженицын победил. Когда-нибудь эту победу занесут в великий список великих побед, одержанных Личностью над Общественными.

Все это мои субъективные, не претендующие на бесспорность суждения о А. Солженицыне как личности и гражданине. Ну а теперь — о его книге про В. И. Ленина.

Можно было бы привести суждения многих критиков о том, что в Ленине автор должен безраздельно господствовать над материалом, а Солженицын, пытаясь постигнуть внутренний мир Ленина, осмеливается думать и чувствовать за него.

Дальше других в суждениях подобного рода пошел Б. Агапов, написавший в свое время очерк «В альпийских долинах», где высказал много глубоких мыслей о природе и методе ленинского мышления. Но в этом же очерке Б. Агапов утверждает: «Я не имею права изображать его (Ленина. — В. Б.) душевную жизнь. Это так же беззвучно, как фантазировать его жесты и внешность».

Коль скоро речь идет о художнике такого масштаба, как А. Солженицын, есть возможность коснуться тех проблем психологии художественного творчества и роли воображения, которые приобретает общестетистический интерес.

Солженицын придерживается фактов, и надо сказать, он весьма последователен и обязан в этом отношении (понятное дело, трактовка фактов может кто-то удерживать, а кто-то не удерживать — это совсем другой вопрос, о чем — ниже). Более того, в приложениях к книге он публикует документы, характеризующие отношение германского руководства к идее возвращения русских революционеров в Россию, а также биографические сведения о некоторых персонажах повествования.

Но все-таки главная сила книги Солженицына совсем в другом. На основе тщательного изучения многообразных исторических источников он создает свою, оригинальную концепцию определенного типа революционера, революционного сознания и миропонимания и, исходя из нее, рисует те или иные житейские эпизоды, образующие в совокупности сюжет повествования.

Чтобы понять своеобразие манеры художника, обратимся к одной из самых важных сцен, и сделать это тем более целесообразно, что можно сопоставить эти сцены и с мемуарно-документальными свидетельствами, и с тем, как пытались некоторые авторы использовать их в своих произведениях.

Как рисует эту сцену А. Солженицын? Бронский приходит к Ильичу во время обеда и говорит в сущности то же, что сообщает Крупская в воспоминаниях. А дальше — дальше включается, начинает работать механизм вездельного художественного толкования того, что могло бы произойти в душе Ленина... Совершенно очевидно, что такое известие является, скажем, прямо, ошеломляющим, невероятным, сенсационным и т. д. — ведь революция же! — и должно оно вызвать сильное возбуждение у того, кто его получил и к коему никак не мог отнестись спокойно. И каждый писатель повернул бы сюжет примерно в это русло.

Но А. Солженицын — не «каждый». Он — Солженицын.

«...Поднял Ильич глаза от тарелки с вареной говядиной, суп уже доел, посмотрел на тихого Бронского — не больше было впечатления, чем сказал бы, что килограмм мяса поешел на 5 раппенов. В России? Революция?»

— Чувь какая. Откуда это известно.

Ел дальше, резал кусок поперек, чтобы и мясо и жир. Откуда ни с того, ни с сего? Такое ляпнул. Макал ку-

Раумеется, целеустремленность Ленина-революционера Солженицын изображает, так сказать, не только на бытовом уровне. Он очень последователен в этом отношении и связывает частности, детали со сверхзадачей художественного повествования.

В том разобранном выше кульминационном эпизоде с сообщением о революции в России есть маленькая, вовсе как будто проходная сценка: Ленин идет мимо расположенного рядом с его жильем дома, на котором скромная доска: «Здесь жил поэт Георг Бюхнер».

Пока — все. Ленину пока не до подобных достопримечательностей. Он якобы и раньше как-то не замечал этой доски, а вспомнил о ней лишь во время прогулки на кладбище. Удивился: почему Бюхнер? Внимание как-то падало на другие имена: социал-демократов, иных политических деятелей... А тут — поэт. И вспомнил: сосед! Жил рядом: Шпигельгассе, 12.

И устремляется ленинская мысль по двум направлениям: об участии эмигранта-изгнанника, тоже, вероятно, стремившегося на родину, но нашедшего приют здесь и, может быть, тоже после болезни...

бывал непримирим в борьбе за единство партийных рядов, но раскол он никогда не рассматривал как самоцель. И пусть его учение о компромиссе в классовой борьбе («Детская болезнь «левизны» в коммунизме») родилось позднее, но оно родилось все же не вопреки всему тому, что Ленин исповедовал раньше.

И потом — разве В. И. Ленину, личности ярко одаренной, было безразлично, с кем идти в одном строю? Разве он мог не понимать, что равным счетом ничего добиться нельзя, если в результате в партии останутся «самые ничтожные люди...»? На мой взгляд, не впервые с историческим зрением А. Солженицына случается явная абберрация. Это вовсе не Ленин, а другой «Великий вождь», уже сосредоточивший в своих руках гигантскую власть, начнет потом последовательное истребление талантов и культивирование послушной посредственности, сеи сти, лакейства. Таких М. Горький назовет в год великого перелома «двуногим хламом», «обозной сволочью». И разве, опираясь на бездарность, можно изменить государственный строй державы?

Вообще человек ярко выраженной одаренности — а Ленин, безусловно,

# ПАРАЛЛЕЛЬНО ИСТОРИИ...

## Ленинская тема в творчестве А. Солженицына

сок в горячку на отвале тарелки. Еще неприятно, когда сбивают еду, не дадут спокойно».

Такая несколько странная сосредоточенность на еде у человека, никогда не придававшего пище слишком большого значения, не помешала ему, однако, заметить, что Бронский стоял и невольно мял полку микроватой фетровой шляпы, которой дорожил...

Обед, стоимостью килограмма мяса, фетровая шляпа... До таких ли мелочей в этот момент, о том ли думал реальный Ленин-революционер? Да ведь он и не думает об этом? Просто автоматический срабатывает психологический механизм, выработанный годами эмиграции с ее борьбой за выживание, за экономии каждой марки и пфенинга, сантимана...

И читатель начинает постепенно понимать, что солженицынские-то Ленин думает как раз о чем-то другом, куда более важном, о чем впрямую и не сообщает писатель. И то, о чем не сообщает он, и что все больше захватывает читательское воображение, и есть главное, основное, определяющее.

В. И. Ленин как бы постепенно разрешает своему сознанию включиться в осмысление события, слишком важного, чтобы его можно было «проглотить» залпом. Начинает прикидывать возможные планы своих действий.

Может показаться, что Солженицын верный избранному приему, в одном месте допускает его пропускать: Ленин как бы даже испытывает недовольство этим сообщением. «Лишь два часа назад, к обеду, так было все ясно: раскалывать шведскую партию и что для этого надо читать, писать и делать. Но вот пришло со стороны недостоверное, невероятное и ненужное (? — В. Б.) событие и как будто даже не задело, не столкнуло — а вот уже ступало. Уже отлекало силы и домало распорядок».

И опять, подумав, принимаешь эту рискованную художественную версию как психологически достоверную. Прежде всего — Ленин не находился в состоянии пассивного ожидания событий. У него имелся свой план действий. И вот этот план был изменен. И даже странный эпитет «ненужное» мы вынуждены принять, потому что это была не его революция. И в том смысле, что он с его правом и претензией на роль лидера не делал ее и, главное, по существу — по социальному содержанию. Ему нужна была революция социалистическая.

Развернутый анализ одного лишь, но ключевого эпизода повести А. Солженицына демонстрирует искусство удивительного проникновения писателя во внутренний мир своих героев, в их психологическое состояние в пору, когда все переворачивалось и еще даже не начинало укладываться.

Что на первый план выводит Солженицын в революционер? Как мы знаем, писатель не принимает Октябрь. Но он не может не видеть и по-человечески не оценивать должным образом в революционере то, что в высшей мере присуще ему самому как художнику, пусть и отвергающему революцию, — предельную целеустремленность. Сколь бы ни показались странным это заявление, но оппонент в чем-то родственен своему антиподу.

Однако эти довольно расхожие мысли повествователя поднимает другой, идея, связанной напрямую со сверхзадачей повествования.

Бюхнер — автор трагедии «Смерть Дантона». Так в повествовании А. Солженицына (как в повесть В. Катаева «Маленькая железная дверь в стене» мотив Парижской Коммуны) входит тема Великой Французской революции.

Вытовая реалья дает толчок книжному сопоставлению. От Дантона — «оппортуниста» — ленинская мысль устремляется к пламенному Марату. «Неужели настольно погрязла, опустилась масса обездоленных, что уже никогда не поднимется на бунт? Не вспомнит пылающих слов Марата: человек имеет право врывать у другого не только излишек, но необходимое. Чтоб не погнать самому, он имеет право зарезать другого и погрязеть его трупешуе телом».

По мысли А. Солженицына, в подобных поступках идеологов Великой Французской революции и рождалась ленинская программа революционных действий. «...не повторить нам ошибок Коммуны, ее двух основных ошибок: она не захватила банков в свои руки и была слишком великодушна: вместо повальных расстрелов враждебных классов — всем сохраняла жизнь и думала их перевоспитать. Так вот, самое гибельное, что грозит пролетариату, — это великодушье в революции. Надо научить его не бояться безжалостных массовых средств».

Так, по мысли А. Солженицына, еще до Октября в Ленине пробуждался диктатор, предрекающий неизбежность массового кровопролития.

Где, в каких работах Ленина находить выражение «эа концепция»? Мы знаем, что штурм Зимнего потребовал минимальных жертв. Поначалу Советская власть под честное слово отпускала воевавших против нее генералов царской армии. И разве не пришел Ленин в гнев, узнав о самосуде, устроенном толпой над капитанами Шингаревым и Кокошкиным?»

Так, может быть, не стоит все-таки возводить в ранг последовательной, загодя приговоренной концепции то, что стало потом следствием суровой необходимости, что было направлено на защиту завоеваний революции? (Не будем, разумеется, отрицать и другую очевидность: в утверждении этих завоеваний власть допускала и явные превышения необходимости; насилие и жестокость приобретали зачастую крайние формы. Был даже красный террор. Но разве, с другой стороны, не было террора белого?)

Последовательно развивая мысль о максимальной целеустремленности действий революционера, Солженицын, как мне кажется, допускает и другое явное упрощение. По его мнению, Ленин всегда был последовательным сторонником раскола социал-демократического движения. «Раскалываться — всегда! Раскалываться — на всех этапах движения! Раскалываться до тех пор, пока станешь хоть в самой малой кучке — не Центральным комитетом! И пусть в ней останутся самые средние, даже самые ничтожные люди, но — единомышленники, и можно достичь — всеобщее!»

Право, в таких пунктах в полемике с маститым художником вступать как-то даже и неловко. Пусть Ленин

был таким — не боялся духовной конкуренции. Наоборот, ему нужны талантливые соратники-соперники, ярые личности, чтобы, обогащая их своими идеями, можно было «подзаряжаться» и от них энергией, добывая, да и просто радостью непосредственного человеческого общения, которое поднимает, одухотворяет, снимает напряженность борьбы.

Но нет, по Солженицыну, ленинский подход к человеку был подчинен одному критерию — социально-утилитарному, служебному. «Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно и лишь пока понимал. А миновалась частная срочная задача, и обидно миновалось понимание, и все эти недавние соратники оставались безнадменно вброшенными в туюю бесподвижность земли как придорожные столбики, и отставали, и скрывались, и забывались, а иногда на новом повороте неслось навстречу остро, как уже враг».

Да, очевидно, случалось и такое. Но обретало ли это неукомность этического закона? Чаще всего все бывало куда сложнее, и хотя бы общеизвестная история отношений с Мартовым не наглядное ли тому подтверждение?

Вообще, как бы ни был талантлив художник, один закон действует неуемимо: если слишком усердно, навязчиво используется какой-то мотив, прием, это неизбежно ведет к однообразности образных решений, к обеднению порожденного жизнью, реально «материала», в котором в различные качества личности, порой взаимно исключаящие друг друга.

Как человек может проецировать на то, что начался война? Разные люди, в разных обстоятельствах, вероятно, не совсем одинаково. Но может ли обычный нормальный человек не понимать, что война — это прежде всего трагедия, связанная с неисчислимыми жертвами: могильными крестами, разрушениями, слезами горя и отчаяния.

Ленин у Солженицына: «...замечательно, что началась война! Это радостно, что началась! Там сейчас всех зажмут, ликвидаторов, значение легальности резко упадет, а значение и сила эмиграции резко увеличится...» Возможно, первоначальная импульсивная реакция Ленина на известие о войне была именно такой (как помню, куда меньшую радость принесло ему известие о революции). Но потом, одумавшись, разве не мог он подумать о реальных человеческих судьбах, о людях, с кем был знаком и над кем нависала опасность?

Опять из повествования уходит реальность многомерность. Ее место занимает явная одномерность, а за ней — тенденция. И вот тут мы сталкиваемся с очевидным парадоксом. Да, наши авторы, писавшие о Ленине, обязаны были исходить из определенных условий, диктуемых извне. Надо ли говорить, сколь ограничивало это их возможности? А Солженицын избавился от чиновника, незримо нависающего над письменным столом и нацеливающимся своим руководящим перстом в каждый абзац. Но крупнейший художник оказался во власти тенденции, заданной себе заранее (иной вариант несвободы). А дополнительные доказательства это

му может служить его известное интервью журналу «Тайм», где он утверждает, что Ленин был злонамеренным человеком.

Задержимся на минутку на этом утверждении. Приступая к своему грандиозному делу, человек может ошибиться, что называется, «на рубить дрова». Его теория может оказаться вовсе не состоятельной и потерпеть крах. Но заявлять, что его изначально намерением было принести людям зло?.. Это, повторю, не как неизбежная издержка на пути торжества добра. А торжество зла как таковое, как конечная цель? Совершенно, звучит это по меньшей мере странно...

В повествовании Ленин одинок. И это при всем том, что в сюжет врываются такие фигуры, как Парвус, образовать которых ни у кого, как будто, дотопе не подылось перо. Фигура поразительная: революционер-делец... Но редкое появление их лишь сильнее оттеняет одиночество Ленина. Да к тому же, по мысли А. Солженицына, Парвусу принадлежит сама идея Советов («в ту самую революцию (1905 г. — В. Б.) Ленин был приданым Парвусом как боком слоном»), да и об империализме он, по сути, успел сказать все раньше Ленина.

Тут, как говорится, требуется компетентный комментарий историка. А мы завершим тем, к чему упорно ведет нас автор: «никакой действующей организации у него в России нет, никакого подполья — нет. Если что есть — оно так шевелится само, неподвластно ему и в неподвластные сроки. Что там есть — он просто не знает, у него нет бесперебойной связи с Россией, нет возможности послать распоряжение или получить ответ».

Цитата эта — из «Октября Шестнадцатого». Но и в «Марте Семнадцатого» есть приводившие выше мысли о революции, об опыте Франции и т. д., но нет реальных действий.

Чтая повествование А. Солженицына и местами восхищаясь его мастерством, испытываешь неизбежное ощущение неумолимо жесткости заранее сконструированной концепции, создателя которой, во имя сохранения ее, отсекает широко известные всем факты.

Ну хорошо, В. И. Ленин — теоретик-одиночка. Но чем же объяснить тогда охваченное волной революционного энтузиазма многолюдье и Финляндского вокзала, возмужавшее приветствующее своего вождя? Ответа у Солженицына нет, а ведь эта встреча непосредственно примыкает к финалу его повествования и в реальной-то жизни была подготовлена всем ходом предшествующих событий.

Естественно, совершенно не понятно, откуда взялись по всей России агенты, которые после свершения временного правительства установили Советскую власть на местах... Подчеркивая одиночество Ленина, его болезненное состояние, Солженицын всецело акцентирует внимание на его обреченности. Физически Ленин жив и будет жить еще не один год. Но потенциально его дело уже мертво.

Мастерство Солженицына-повествователя, его искусство изощренного психологизма, какого не знала еще Ленинна, увы, входит в противоречие с той концепцией исторического процесса и Ленина как революционера и политика, которую пытается предложить нам автор.

Я думаю, некоторую, ну пусть не определяющую, но все же немаловажную роль сыграло здесь одно — уже не мировоззренческое, а так сказать, чисто внутрилитературное — обстоятельство.

На обложке книги значится: «Ленин в Цюрихе. Главы». И действительно, это последовательные изведе-

ния из трех «узлов». По мысли создателя, объединившись, они образуют некое единство.

До известной степени — так. Но только до известной степени. Ведь в художественном произведении каждый компонент — неотъемлемая часть целого, входящая в него при помощи множества внутренних сцеплений (если воспользоваться определением автора «Войны и мира»). Будучи вычленена из целого, часть его неизбежно что-то теряет в своей художественной содержательности. Перевод произведения из одного жанра в другой не есть акт механический. Жанр устойчив, если угодно — эстетически консервативен. Он даже способен «мстить» тем, кто слишком резко нарушает его законы.

Но предположим в конце концов, что жанровое обозначение — всего лишь частность, и куда важнее — общая оценка повествования. Обратимся к мнению одного из выдающихся представителей общественной мысли века Александра Зиновьева, имя которого по справедливости приобретает все большую известность в нашей стране. Одна из отмеченных особенностей интеллекта А. Зиновьева — его абсолютная антистандартность мышления, полнота внутренней свободы суждения.

В одном из интервью еще в самом начале перестройки, затрагивающем множество актуальных вопросов, А. Зиновьев дал ответ и по поводу романа «Красное колесо». Ответ, скажем прямо, весьма неожиданный и суровый. «Я ценю Солженицына как духовное явление в России. Я ценю его «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ» как литературные произведения. Я повторяю — как литературные. По поводу всего остального, по поводу его концепции, касающейся СССР, — это умышленная фальсификация. «Август 14-го», «Ленин в Цюрихе» — я отвергаю их с исторической и литературной точек зрения. История уже прошла. Ее не переделает. История уже прошла. Но он не нашел с ней связи».

Воздержимся от комментариев и обратимся к суждению еще одного, на сей раз иностранного ученого — одного из ведущих сотрудников Гарвардского института по перспективному изучению Советского Союза Джонатана Сандера. Очевидно, стоит повнимательно прислушаться к его мнению по вопросу, непосредственно относящемуся к сфере его компетенции. Говоря о том, что про Ленина в Америке знают мало, Сандер добавляет: «Художественной литературы о Ленине также нет, за одним исключением. Существует роман «Ленин в Цюрихе». Я не являюсь поклонником этой книги. Считаю ее тенденциозным вымыслом. Так думают многие. Не помогло и рекламирование своей работы самим автором...»

Выражая свое отношение к В. И. Ленину, американский политолог говорит: «...геней Ленина был многосторонним. Он понимал настроения масс, он знал, что такое большая политика, как никто другой, он представлял тип гибкого руководителя. Ленин никогда не был, да и не мог стать диктатором, поскольку был интеллигентнейшим человеком. Он говорил, кричал, писал, спорил, «снимал этапы и сокращал сроки» и в конце концов победил, но не как диктатор, а как участник сложнейшей революционной дискуссии».

Но будем сейчас скрупулезно выверять точность заключительного суждения политолога: в чем Ленин победил, а в чем победы добиться ему не удалось (в последнее время не так мало появилось смелых авторов, которые считают, что вообще ни о каких победах Ленина не может быть и речи). Что и говорить, были, кроме побед и поражения. Но они — не в основе его характера, но в фатальном стечении обстоятельств. Они есть выражение колоссальной драмы идей, разразившейся на арене XX столетия, драмы, главным двигателем лицом которой являлся История.

Вадим БАРАНОВ,  
доктор филологических наук,  
НИИЯИ НОВОГОРОД.